

МОГУЧЕЕ СЛОВО

Лит. газ. 1984, 29 февр. №9

Иногда лишь потеря писателя определяет в наших запоздалых глазах его истинную ценность. С Шолоховым, общепризнанным с молодости писателем, было иначе, хотя с Шолоховым-человеком было порой сложно в нашей профессиональной жизни. Но это никогда не могло заслонить монументальной громады «Тихого Дона», подобно старому казачьему кургану, сложенному из многострадальной земли и легенд. Я люблю у Шолохова не только «Тихий Дон», но и его ранние рассказы, пересыпанные серебристыми от росы мятой и чабрецом донских степей, и неповторимо драматические образы Лушки и Макара Нагульнова из «Поднятой целины», словно вылепленные из тумана ночных станичных околиц, и махорочного дыма казачьих самокруток, тревожно думающих о жизни. Но главное, что возникает при имени Шолохова, — это плавное, могучее — «Тихий Дон». А имя «Шолохов» вечно будет шуршать в течении нешумно перебирающей камешки этой величественной реки, в которой сливаются и Рубикон, и Стикс, и Лета. На фоне сегодняшних 40-летних, а иногда даже 50-летних писателей, коих мы все еще почему-то называем «молодыми», кажется поразительным, что такая мощная эпопея создана не достигшим 30-летнего возраста человеком. Но ведь «Герой нашего времени» написан Лермонтовым примерно в этом возрасте, а «Облако в штанах» — красивым 22-летним Маяковским. Скидка на молодость в литературе безнравственна рядом с такими примерами. До сих пор по земному шару мчит задыхающийся Григорий Мелехов, казачий Гамлет, мятежное сердце которого разорвал исторический катаклизм эпохи. До сих пор Пантелей Прокофьевич, сокрушенно обхватывая свою седую голову, припадает к иссушенной земле, стараясь вымолить у нее света. До сих пор бьется на ветру, ударяя по сильным загорелым ногам, зазелененная юбка Аксиньи. Эти образы вечны, потому что они созданы не за столом, а выдышаны самой землей, растрескавшейся от

зною, усыпанной пеплом и политой потом и кровью. Сага о Мелеховых не могла бы выйти на уровень эпоса, если бы в ней не было сильных страстей, взрывающихся внутри героя. Это и есть то, чего сегодня подчас недостает нашей литературе — сильные страсти. Слишком много произведений, написанных при драматически-нормальной температуре — 36,6.

Никакая бытовая скрупулезная правдивая деталь, никакая прилежная этнография, никакие дидактические благие намерения не могут заменить перехлестывающих через края страниц страстей — и личных, и гражданских, а особенно, когда они перемешались, перепутались, спаялись, и одно от другого не отделишь. Признанными детьми романа Шолохова в свое время были «Строговы» Маркова, с его неповторимым дедом Фишкой, на плече которого, казалось, сидел шолоховский кречет, неведомо как залетевший в сибирскую тайгу из донских степей, «Даурия» Константина Седых, лучшие вещи Первенцева — «Над Кубанью», «Кочубей»... Но разве в Настёне из «Живи и помни» Распутина нет-нет и не проступают черты Аксиньи, причудливо смешанные с чертами Натальи. На всем лучшем, что есть в нашей так называемой деревенской литературе, которая давно уже переросла это понятие, так или иначе есть дыхание донских степей, причудливо перекидывающееся то на беловскую Вологодчину, то на астафьевскую Сибирь. А разве в великом эпосе Айтматова о Едигее донские чабрец и мята не порхают в воздухе над полупустыней, по которой тягач тащит тело умершего трудового человека к его предкам. Нельзя представить ни одного настоящего советского писателя, которого обошли бы волны шолоховского «Тихого Дона». Нельзя представить ни одного человека в нашей стране, частью чьей психологии не стал исторический опыт, вобранный волнами «Тихого Дона». Быть гражданином у нас в стране невозможно без могучести «Тихого Дона» в нашей крови.

Евгений ЕВТУШЕНКО